

Раздумья на краю туркменского кладбища

Category: Edebi makalalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Раздумья на краю туркменского кладбища РАЗДУМЬЯ НА КРАЮ
ТУРКМЕНСКОГО КЛАДБИЩА

*«Ступай на кладбище и там ты погрузись в раздумья,
Тела мужей великих обратились в прах.»*

Махтумкули

Начну с грустной шутки. Один туркмен как-то побывал на армянском кладбище и, вернувшись к себе, с восторгом рассказал сородичам обо всем увиденном, в конце добавив: “Ну, просто умереть захотелось!” У меня нет ни малейших сомнений в том, что сказано это было совершенно искренне. И вот почему.

Передо мной обычное туркменское кладбище. Городские ли, сельские – по внешнему виду они почти не отличаются. Это – недалеко от моего родного села. Его тоскливый, голый вид напоминает туркменскую степь, выжженную беспощадным летним солнцем. Никаких деревьев, кроме редких кустов высокого кандыма, поблизости не наблюдается, но даже их жидкая тень одаряет прохладой, будто глоток холодной воды. Вокруг угадываются контуры исчезающих могил. Все промежутки между ними покрыты грязно-белой коркой земли, умерщвленной выступающими на поверхность солеными подпочвенными водами. Когда наступаешь на эту корку, она издает слабый хруст и оставляет на своем теле глубокий след подошвы. Редкие островки сухой, жесткой травы сопротивляются твоему вторжению, неприятно колясь. Норы мелких животных предохраняют твои ноги от попадания в скрытые провалы.

Это страна мертвых. В детстве она наводила на нас ужас. Мы даже близко боялись подойти. Теперь же того страха нет, и я смотрю на кладбище как на частичку своего прошлого, внутренне ощущая то великое, провоцирующее воздействие, какое обычно

кладбища оказывают на человеческую память. Здесь, на этом унылом, тихом месте, похоронены мои родители, сестры, родственники, односельчане. С ними меня связывают конкретные чувства и воспоминания. Они по-прежнему причастны к моей жизни. Но с уходом каждого из них обрывалась еще одна нить, привязывавшая меня к этой земле, да и к жизни вообще.

Люди, останки которых покоятся на этом запущенном кладбище, более не подвластны разрушительному времени. Они словно подсказывают мне, что недалек тот день, когда и я растворюсь в этом безвременье. Странно, но мне от этого не страшно. Наоборот, кладбищенская тишина дает приятное ощущение покоя, и тогда мысли начинают непроизвольно примеряться к вечности. Древние мудрецы говорили, что смерть – врата вечности, однако большинство людей воспринимают смерть как конец всего, и потому исполнены страха пред ней. Для таких всякое посещение кладбища есть лишнее напоминание о смерти, думать о которой люди в основном избегают и другим не советуют.

Махтумкули же настоятельно советовал идти на кладбище и предаваться раздумьям, в том числе и о смерти. Для чего? На мой взгляд, поэт призывал через эти раздумья, созвучные исповеди, достигать нравственного очищения. Хотя существует и иное толкование, о котором мы поговорим позже.

Туркмены любят и чтут своего великого поэта, даже не боясь ставить его рядом с пророком Мухаммедом. Ведь его стихи на религиозные темы часто заменяли туркменам священный Коран. Хотя необязательно ставить Махтумкули вровень с пророком или другим каким мудрецом, изрекавшим одни бесспорные истины. Достаточно всего лишь воспринимать его как поэта и пытаться понять суть его поэзии. Знающий поэзию Махтумкули человек поймет призыв поэта идти на кладбище и задуматься. Кладбищенские раздумья тем и отличаются от дворцовых, что здесь чувство ответственности живых перед памятью мертвых превращается в основной критерий нравственной оценки жизни и поступков. Такому человеку понятны и близки исповеди Махтумкули перед Богом и совестью, ибо в них сосредоточены общечеловеческие духовные ценности; исповеди поэта становятся его собственной исповедью, и он с ним духовно сливается,

подобно тому как суфии сливались с Богом через мифическую любовь.

Исповедь есть важнейший элемент самопознания. “Тот, кто знает себя, – мудрец”, – гласит туркменская поговорка, видно, намекая на известную мысль, что философия начинается с самопознания. Но я не осмелюсь утверждать, что подобное стремление разобраться в себе является определяющей чертой нынешних туркмен. Видимо, туркменское общество все еще пребывает во власти конформистской спячки, столь характерной для эпохи обезличивания, когда практически весь народ представлял собой однородную податливую массу, готовую апатично принимать любую идеологию и любого вождя. Мудрость по-прежнему не в почете, потому что она единственно и дает правильные ориентиры движения в искаженном пространстве.

В 60-е годы молодыми туркменскими кинематографистами был снят фильм “Состязание” (туркменское название “Шукур-бахши”). Кроме премии фильм удостоился высокой оценки критиков, признавших его глубоко философский смысл. Так вот, в том фильме один из героев высказывает следующую мысль: “Сколько на земле людей, столько и философий”. Эти странные для того времени слова туркмены слышали, но их значение до них не доходило. Головы тех, кто был способен мыслить, различали лишь одну разновидность философии – марксистско-ленинскую, иное же автоматически отторгалось. Раз говорили, что “один в поле не воин”, то дальше следовало говорить, что “и у одного человека не может быть своей философии”. И говорили! Мы серьезно считали, что философия есть продукт, производимый исключительно партией и обществом. А теперь представьте, какое отношение к себе снискал бы человек, который бы регулярно приходил на кладбище поразмышлять и пофилософствовать. Да его тут же окрестили бы юродивым, или дервишем, или, того хуже, просто сумасшедшим. Впрочем, у меня алиби: я – столичный житель и приехал погостить в родное село.

Да, из сельчан редко кто заглядывает сюда, да и то во время похорон. Поэтому бродячие собаки чувствуют себя здесь привольно и спокойно, устраивая свои сборища как раз недалеко от могил моих родителей, под большим кандымом.

На всем пространстве вокруг могилы местного святого, укрытой в мазанке с куполом, хоронят усопших из соседних сел. Каждое село имеет здесь свою выделенную территорию. Точно так же, как каждое село имело свои четко выделенные площади сельскохозяйственной земли. Хотя в последние годы границы этих угодий, после раздела колхозных полей и передачи их под индивидуальную обработку, стали все более размываться, а местами и вовсе исчезли. Аналогичный процесс происходит и на кладбище, где границы тоже становятся все более условными. Однако это можно объяснить лишь заметно увеличившейся в последнее время среди туркмен смертностью.

Я стою посреди той части кладбища, которая принадлежит нашему селу. Рядом проходит дренажный коллектор. Его прорыли лет двадцать тому назад, и он действительно ослабил выход подпочвенных вод, замедлив тем самым размывание могил. Примерно тогда же была проложена к кладбищу асфальтированная дорога, которая упирается в специальную бетонную площадку, предназначенную для проведения траурных митингов. Рядом с площадкой стоит огороженный с трех сторон навес. Под ним лежат кирпичи и прочий нехитрый инструмент, необходимый для устройства погребений. Все это – и прокладка к кладбищам хороших дорог, и периодическая уборка кладбищ, и организация траурных митингов во время похорон почетных людей – входило в обязанности районных властей, которые выполняли наказания партийных и советских органов о внедрении так называемых новых обрядов.

К траурным митингам сельчане относились с некоторым скепсисом, но тем не менее их воздействие на людей было очевидно. Сказывалось то, что во время этой церемонии все внимание людей концентрировалось на усопшем, чье тело еще не было предано земле, и люди видели его в последний раз. В такой момент чувства обостряются настолько сильно, что растворяют грань между правдой и ложью. У туркмен есть такой обычай: после предания усопшего земле три раза спрашивают: “Каким человеком он был?” – и все три раза стандартно отвечают: “Он был хорошим человеком”. И не важно, что у кого-то найдутся основания так не считать. Важно, что в такой момент сердца людей смягчаются.

Тем более что дух умершего, по нашим поверьям, еще три дня после смерти ходит среди людей и слушает, что о нем говорят. Так что слышать только добрые слова в свой адрес ему приятно, как, кстати, и его родственникам.

Я и раньше был сторонником распространения подобного обряда среди сельчан, и сегодня не поменял своего мнения, хотя мусульманские обычаи этого не одобряют. Поэтому эта инновация была утрачена моими земляками еще в эпоху “перестройки”. Как знать, может быть, так лучше. Может быть, действительно этот новый обряд был привнесен исключительно ради повышения авторитета советских чиновников, дабы траурным торжеством загладить их неблагоприятные поступки? Возможно, очень возможно. Теперь же бетонная площадка сиротливо лежит в стороне, напоминая о прошлой власти. Посаженные когда-то вокруг нее деревья все высохли. Если не ошибаюсь, эти деревья были первыми деревьями, когда-либо посаженными моими односельчанами на кладбище. Жаль, что и это начинание не нашло своего продолжения. А еще жаль, что сегодня хорошо образованные туркмены, даже ученые, молча, кивком, соглашались с наставлениями малограмотного муллы о том, что сажать деревья и устраивать митинги на кладбище есть великий грех с точки зрения ислама. В результате в глазах подрастающего поколения мулла предстает многознающим и образованнейшим человеком, а настоящая образованность из достоинства превращается в пустой звук.

Да, были времена, когда туркмены-кочевники сами желали, чтобы могильные холмики исчезали как можно быстрее. Более того, при переезде на новые кочевья они иногда даже пускали по кладбищу овец, чтобы те утапывали могилы. И на то были свои причины. У туркменских племен, которые постоянно мигрировали между Каспием и Амударьей, все, начиная с жилищ, было приспособлено к условиям кочевой жизни. На всем стояла печать временности. Удивительно, с какой быстротой туркмены могли собрать свое имущество и с семьями незаметно перебраться на новые, более безопасные в тот момент места стоянки. Оставленный след мог навлечь беду. К тому же могилы могли стать объектом надругательства со стороны врагов. Такое зачастую случалось.

Так что отношение туркмен к могилам родных тогда было обусловлено жизненными обстоятельствами, а никак не обычаями и поверьями. Другое дело – туареги, кочевые арабские племена, населяющие пустыню Сахару, которые действительно жили в плену первобытных поверий и в силу некоторых из них избегали соседства кладбищ. Они бежали от могил соплеменников, потому что считали, что дух умершего способен поразить живого человека. Даже имена покойных, будь то отец или дед, не могли произноситься вместе с именами живых, поскольку этим можно было навлечь на себя страшную беду.

Туркмены же, наоборот, давали сыновьям имена своих покойных отцов в надежде, что дух умершего вселится в душу ребенка, и при этом говорили: “Пусть ребенок будет хозяином своего имени”. В этом пожелании имелся свой скрытый смысл: имя давалось не только в знак уважения к памяти предка, а само по себе рассматривалось в качестве наследства. Думаю, что туркмены, давая своим чадам имена дедушек и бабушек, тем самым выказывали им свою великую любовь, а с другой стороны, хоть как-то реабилитировали себя в глазах покойных родителей за не вполне бережное отношение к их могилам. Поэтому ребенок, нареченный в честь покойного родителя, был постоянным источником светлых воспоминаний об умершем человеке. Но если, повзрослев, наследник имени вызывал своими поступками всеобщее порицание, о нем говорили как о “человеке, опозорившем имя”.

Уже век, как туркмены ведут оседлый образ жизни. Глядя на нынешний облик городов и сел, теперь трудно даже представить, что его обитатели еще в недалеком прошлом были кочевниками. Единственное, что продолжает напоминать об этом прошлом, это туркменские кладбища. Туркмены говорят: “Тот, кто не уважает мертвых, не будет уважать и живых”. Замечательные слова! Но будет очень нелегко объяснить западному человеку смысл этих слов, как только он своими глазами увидит состояние наших кладбищ. Ведь когда туркмен говорит об уважении к мертвым, он, в первую очередь, имеет в виду их благополучие на том свете, а на этом – уважение к их осиротевшим семьям. Но никто не чувствует никакой ответственности за состояние могил, и это в порядке вещей.

Прочитал справедливое мнение одного русского профессора о том, что о культуре страны судят по состоянию ее туалетов и кладбищ. В наших селах туалеты как таковые стали появляться лишь в середине 60-х годов. А до этого по нужде ходили в высохшие арыки, за кусты, если они имелись, а если нет, то просто прикрывались подолом халата: сиди себе и спокойно делай свое дело, никто не удивится. Объяснением этому служил тот факт, что планировщики застройки туркменских сел, развернувшейся в 30-е годы, просто-напросто забыли нанести на свои схемы туалеты. Вот и получились прямые улицы с такими же прямыми углами, вдоль них – жилища, расположенные строго по линии улиц, и ни одного нудника! Так что солнце и жара еще долго оставались главными нашими санитарами. Потом только, со строительством основательных кирпичных домов, по краям приусадебных участков начали ставить первые туалеты, наскоро сколоченные из досок и фанеры, но легкие и удобные для переноски с одной ямы на другую. В настоящее же время в норму все больше входят туалеты капитальные, из кирпича и бетона.

Увы, наши кладбища были обойдены в этом смысле далеко стороной. И даже близость некоторых из них к городам никак не повлияла на общую картину. Вот стою я на городском вроде бы кладбище – мы хороним человека. Наша толпа, как это и приличествует такому событию, исполнена скорби и печали. Но я ловлю себя на мысли, что во всей этой атмосфере отсутствует главный элемент – ощущение торжественности прощания. Вместо него на всем и всех лежит печать какой-то подавленности и безысходного уныния. И вдруг меня словно осеняет, что виной всему этому – голый, неуютный вид кладбища, с его безымянными, громоздящимися друг на друга холмиками сухой земли. Тогда как рядом – современный город с красивыми многоэтажными зданиями, широкими оживленными улицами, полноводными фонтанами, садами и парками. Ну почему, несмотря на все эти грандиозные с точки зрения цивилизации изменения в быту и общественной жизни туркмен, наши кладбища продолжают неприятно поражать своим первозданным видом?

В народной туркменской сказке рассказывается о том, как один человек, в строгом соответствии с бытовавшими в то далекое

время традициями, понес своего умирающего отца далеко в пустыню, чтобы там его и оставить. Кстати, такой обычай существовал у многих народов, включая японцев, о чем свидетельствовал кинофильм “Сказание о Нараяме”. Так вот, нес тот туркмен своего отца на закорках да и устал. Сел он передохнуть на бархане, как вдруг его старик рассмеялся. “Ты же собираешься умирать, отец, а тебе смешно?” – удивился сын. И тогда старик открыл ему причину своего смеха. Оказывается, много лет назад он тоже нес своего отца умирать и присел отдохнуть именно на этом бархане.

А еще, когда я был маленьким мальчиком, один наш родственник иногда читал нам из героического эпоса “Героглы”, который был издан в 40-х годах отдельной книгой и латинским шрифтом. Помню, что я каждый раз плакал, когда речь заходила о смерти Героглы. Меня до глубины души возмущало то, что в конце своей жизни его, старого вождя, столько много героического сделавшего для народа, просто спроваживают в пещеру, чтобы он там умер, да еще и в полном одиночестве. Что за дикая неблагодарность! Однако великий герой воспринимал эту участь как должное, потому что и сам, будучи молодым, оставил своего великого деда и наставника вот так же умирать в горах. Правда, я тогда о таком обычае своих далеких предков не знал.

Теперь знаю и, что удивительно, более не нахожу его чересчур экстравагантным. Наоборот, я его нахожу даже очень характерным для отношения туркмен к такому явлению, как смерть, где общественное поведение человека строится не на собственном представлении о том, что такое хорошо и что такое плохо, а согласно обычаю. Этот обычай есть составная часть массового патриархального сознания. Впрочем, похоронно-ритульная обрядность туркмен на разных исторических этапах формировалась под определенным влиянием других, соприкасавшихся с ней религиозно-культурных систем, таких, как, скажем, зороастризм. В зороастризме, например, почиталось грехом предавать земле тело умершего человека, поскольку-де разлагающаяся плоть могла эту землю осквернить; поэтому тело держали непогребенным до тех пор, пока солнце, птицы и прочие факторы не превращали его в груды костей, и лишь тогда эти кости зарывались в землю. С

другой стороны, ислам обязывал хоронить покойных как можно скорее. Хотя ни в одном мне известном мусульманском каноне не говорится о необходимости скорейшего исчезновения могил. Более того, при посещении крупнейших мировых центров ислама я видел великолепные мавзолеи, сооруженные прямо на могилах усопших. Так что наши туркменские муллы, когда они твердят о желательности исчезновения могил и запрещают на кладбищах деревья, просто еще раз расписываются в изъятиях собственной просвещенности и неумении четко различать, что есть древний народный обычай, так называемый адат, а что есть формальность ислама.

Я смотрю на ту часть кладбища, где могильные холмики уже почти сровнялись с землей. Под ними покоятся останки людей, умерших двадцать–тридцать лет назад. Нигде нет ни надгробных камней, ни пусть бы деревянных дощечек с именами (хотя с недавних пор на кирпичной ограде свежих могил стали писать имена и даты). Ощущение такое, будто никому из родственников умерших и в голову не приходило, чтобы как-то обозначить принадлежность могил, я уже не говорю об элементарном уходе за ними.

В самом центре кладбища, рядом с которым я стою, находится могила моего отца – Джумагельды Баки. Его похоронили в октябре 1945 года, когда мне было всего семь лет. Моя память удержала лишь обрывки того скорбного дня. Помню, что множество людей, быстро двигаясь, уносили на плечах табит, на котором лежал мой отец. Я знал, куда они направлялись. Они шли на кладбище, которое располагалось на западной стороне села, туда, куда нам, детям, было страшно ходить. Только спустя несколько лет меня, уже юношу, привел сюда один наш родственник и показал могилу отца. Меня никак не впечатлило то, что глиняная ограда могилы не выдержала натиска подпочвенной влаги и почти полностью развалилась, что арка над входом держалась на честном слове. Более того, мне очень хотелось поскорее покинуть это место, потому что я продолжал испытывать благоговейный страх перед кладбищами, навеянный страшными рассказами взрослых об обитавших там злых духах. Помню, этот страх леденил душу, когда отбившиеся от стада овцы, которых нам поручали пасти неподалеку от кладбища, забредали на его

территорию, и нам приходилось выгонять их оттуда; жуть сковывала, мы не смели оборачиваться, боясь обнаружить за собой погоню страшных джинов-арвахов.

Конечно, теперь я свободен от былых предрассудков. Мне радостно, что забвение больше не угрожает могиле отца, потому что вокруг нее установлена крепкая железная ограда. Но мне грустно, что рядом с его могилой появился еще один холмик: в 88-м году скончалась моя мать. Холмик отца сильно размыло, и он заметно уступает по высоте тому, что рядом. Однако подсыпать на него землю нельзя, так люди говорят. Ну, нельзя, так нельзя, хорошо, что вообще не исчез.

Здесьняя тишина мне по душе. Она, словно хорошая музыка, очищает мою душу. В ней слышится симфония моих воспоминаний. Перед глазами отчетливо возникает фотография отца, которая висит на стене в моем рабочем кабинете. Его худое лицо прорезают глубокие морщины, и ни короткие усы, ни борода не могут их спрятать. Он сидит на корточках, прямо на колхозном поле, держа в руке только что вырытый куст картофеля с висящими снизу несколькими крупными клубнями. Любой посторонний человек, посмотрев на усталый вид отца, сказал бы, что этому старику лет шестьдесят, если не больше. На самом же деле тогда ему было всего сорок три года! Этот снимок был сделан безымянным корреспондентом для областной газеты. Нашли фотографию в колхозном архиве. Судя по композиции, снимок должен был свидетельствовать о том, что колхозники, трудясь днем и ночью, вырастили отличный урожай, столь необходимый для фронта. Отец же, будучи председателем колхоза, должен был своим исполненным достоинства видом, несколько плакатным, выражать особую гордость за труд колхозников. Думаю, что корреспондент велел отцу смотреть в объектив торжественным и гордым взглядом и улыбаться. Однако торжества и улыбки явно не получилось, а запечатлелось грустное и усталое лицо человека, чуждого всякому самодовольству.

По рассказам односельчан, этому малограмотному, но отлично знавшему сельское хозяйство человеку доверили возглавить большой колхоз. Он не был членом партии и открыто пять раз в день совершал намаз, иногда даже в присутствии больших

областных чиновников. Наверное, его терпели за то, что руководимый им колхоз из года в год собирал высокие урожаи. Но отец давно уже тяжело болел туберкулезом. Несколько раз районное начальство пыталось отправить его на лечение в санаторий, но он каждый раз отказывался. В 43-м году отца наградили орденом Трудового Красного Знамени; для получения награды он должен был отправиться в Москву; но он не поехал в столицу, потому что не хотел тратить оставшиеся силы на дальнюю дорогу. А спустя некоторое время после Победы отца не стало. Ему было всего сорок пять лет. Позже, слушая рассказы односельчан о тяжелых годах войны, я замечал, с какой гордостью они всегда сообщали тот факт, что за все годы ее в нашем большом колхозе от голода не умер ни один человек. Я никогда специально не просил людей рассказывать мне об отце, но они сами, всякий раз вспоминая военное лихолетье, почитали за долг выразить особую благодарность отцу, который всегда находил возможность помочь людям, даже тем истощенным от свирепого голода беднякам, которые приходили к нам из других сел. Мне кажется, что кроме благодарных чувств своими рассказами они хотели донести до моего сознания, что впредь все мои поступки будут оцениваться людьми только на фоне тех добрых дел, которые творил мой отец.

По правде говоря, это первые написанные мною строки об отце. Но никакими словами не передашь то сложное чувство любви и гордости, которое я в действительности испытываю к этому человеку. Это глубоко сокровенное чувство. Это мой бессловесный диалог с ним, моим добрым наставником, который примером своей жизни на долгие годы расставил для меня нравственные ориентиры. Но чувство это не было бы столь ярким и полным, если бы не участие другого, бесконечно дорогого мне человека – моей матери. Она, оставшаяся вдовой в тридцать семь лет, с девятью детьми на руках, когда младшему было всего-то сорок дней от роду, сумела всех нас вырастить и воспитать достойными памяти своего отца.

Я ощущаю, что вид родительских могил уже сам по себе наполняет мои воспоминания особой рельефностью. Они есть зримая память. Поэтому, приводя сюда своих детей, я даю им возможность самим

прикоснуться к собственным корням и задуматься о нашем прошлом, о наших прадедах.

Могилу своего деда я не видел, от него осталось только имя – Баки. Где и когда он был похоронен, никто не знает. Удивительно, но у туркмен есть такая поговорка: “Кто не знает семь колен своего рода, тот сирота”. Выходит, что я – сирота, потому что знаю всего только четыре колена. К таким же сиротам я могу отнести подавляющее большинство своих односельчан. Помню, мальчишкой мне часто приходилось слушать рассказы нашего родственника, слепого семидесятилетнего старика, о моих прямых предках, об их жизни и занятиях. К сожалению, ни я, ни кто-либо вокруг не только не считали нужным как-то записывать его рассказы, но даже не пытались ничего запоминать. А все потому, что не испытывали в этом никакой необходимости: генеалогия традиционно не занимала туркмен. Даже в советское время к записям актов гражданского состояния туркмены продолжали относиться с привычной небрежностью. Вот наглядный пример: в середине 50-х годов я так и не смог добиться от сельского совета справки о точной дате своего рождения; так что в моем паспорте по-прежнему стоит дата, придуманная врачом судмедэкспертизы. Следуя туркменской логике, можно спросить: “А какая разница?” Ведь писал Махтумкули: “Мир этот временный, он не опора мирозданию,/ Тот, кто в него пришел, его покинет, как прохожий”.

Именно эти строки, кстати говоря, вспоминаются при виде кладбищ. Видимо, у туркмен эфемерность человеческой жизни накладывает отпечаток временности на все в этом мире. Отсюда отрешенность и неверие в жизнь после смерти. Люди приходят, люди уходят, появляются новые могилы, старые же забываются и исчезают. Эта исторически сложившаяся, но примитивная по своей сути философия может показаться мудростью для искателей душевного равновесия, но уверяю вас, ничего хорошего туркменам она пока не принесла. Если продолжать следовать ей с той же упорностью, то печать временности может однажды лечь и на целый народ.

Рассказывают, что в 1924 году первый руководитель Туркменской Республики в составе СССР Кайгысыз Атабаев, в заслугу которому

справедливо ставят основание современной туркменской государственности, обратился к туркменам, проживавшим на территории соседнего Каракалпакистана, с просьбой переселиться на родину. Старейшины тамошних туркмен поблагодарили его за приглашение, но ответили отказом, сославшись на то, что не могут оставить могилы своих предков. Так они и живут там до сих пор.

Здесь, у могил моих родителей, их ответ приобретает для меня особый смысл. Я будто слышу в нем ответ на вечный вопрос о смысле жизни.

Впервые опубликовано в журнале: «Дружба Народов» 2001, №6
Edebi makalalar